

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

«Дворники» суматошно елозят справа налево, слева направо, но не успевают снять воду со стекла.

Между ним и городом — вода.

Евгений хорошо знает улицу, по которой едет сейчас. В России её звали бы переулком, так она коротка и узка. И про себя он зовёт её переулком. Этот переулок — рукав, а сейчас, во время дождя, — ручей к Центральной улице в большом американском городе. Сегодня почему-то переулок этот тянется бесконечно. Может быть, потому, что стеной вода, и темно.

Ему нужен дом 248 на Центральной улице. Кажется, это направо. Пассажиру, выбравшему его такси, недолго ждать. Ещё метров семьсот и — поворот. Скоро вспыхнет огнями просвет в Центральную улицу, на которой тот живёт и по которой днём и ночью несутся машины.

Татьяна Успенская-Ошанина

В такой проливной дождь, когда и собака на улице носа не высунет, этот вызов — удача. Двойная удача — пассажиру ехать в аэропорт. Там наверняка удастся хоть пару часов поспать, а когда прибудет австралийский рейс, можно будет взять нового пассажира.

Евгений любит этот рукав-ручей. Переулок тихий. Лишь у выхода из него справа — автобусная база с золотистыми воротами. Но бурная жизнь там днём. Когда же Евгений несётся по нему, ни человека, ни машины. Может, потому, что летит он по нему, как правило, ночами.

Обычно редкие фонари знакомцами светят ему своими лицами. А сегодня они почему-то не горят.

Сегодня шторм, как называют это в Америке, а по-русски просто ливень. Напор — много сильнее, чем в его душе.

Евгений любит воду.

После девятого класса пошёл с Илькой и Мишкой в поход. Добрались до моря и не захотели никуда двинуться дальше.

Он мог плыть час без отдыха.

На спину перевернулся не потому, что устал. Что-то заставило.

Небо, вернее, голубой, оранжевый, чуть дрожащий, чуть колеблющийся воздух, вода и он. Он попал в лёгкую вибрацию воздуха, света, воды, и растворился в них, и потерял себя.

ЖИВУ, ПОКА ЛЮБЛЮ

Сколько времени длилось это состояние, не знает. И словами определить его не может. Ни на что, испытанное им раньше, не похоже. Разве немного напоминает то, когда он слушал хорошие стихи, музыку или сочинял свои песни. Но и тогда всё равно он ощущал себя — неуклюжее большое тело, пульсацию в горле, в руках...

Сейчас вспыхнет огнями просвет в улицу, на которой живёт его пассажир и по которой и ночью несутся машины. Бессонная улица.

Он тоже, можно сказать, человек бессонный: работает в ночную смену, потому что ночами в его доме царит Вера. Читает русские и английские книги, дымит, прикуривая сигарету от сигареты, пишет письма в Москву, кашляет, шуршит бумагами, шаркает тапками на пути в кухню — вскипятить и заварить чай, на пути из кухни в комнату — с крепким чаем. Ночью в доме гремит музыка — дочка может спать только под громкий рэп.

Перевернутые сутки. Вера спит днём.

Этот режим у них с первого дня брака. Маленькие дети плачут, хотят есть, Вера спит. Он подкладывал к ней детей, когда был не на работе, а позже, когда кончилось у Веры молоко, готовил еду и кормил их. Он подмывал их, менял им пелёнки, а позже умывал и одевал.

Вера его ненавидит. Ему слова: «В гробу я тебя видела!», «Чтоб ты сдох!» Даже если ей что-то

Татьяна Успенская-Ошанина

нужно, не попросит, потребует: «Принеси сигарет», «Купи чай», «Дай денег!».

Его ночное такси — гонка за деньгами.

Между ним и миром — вода.

Почему всё ещё не видно огней бессонной улицы? Пассажир заждался.

Евгений выжал газ, и вспыхнул свет. А потом сразу тьма.

2

Жизнь проявилась болью и удушьем. Он не может вдохнуть. Рука автоматически потянулась к карману дверцы достать сигарету, но, чужая, тянется бесконечно долго, он успеет задохнуться.

Сознание ещё не вернулось полностью, но ощущение, что он умирает, возникло. Мягко колыхались в голове вместе со студенистой массой света и тьмы слова: «Последнее желание... удовлетворить».

Бесконечно, сквозь боль и удушье, тянется рука. Наконец сигарета медленно плывёт обратно.

Он запелёнут железом своей машины, он попал в тиски, и тиски всё сильнее сжимают грудь. Красные мухи голодной стаей мельтешат перед глазами.

Инстинктивным движением — последнее желание удовлетворить — сунул сигарету в рот. Те-

ЖИВУ, ПОКА ЛЮБЛЮ

перь таким же долгим путём подвести зажигалку к сигарете.

И всё. Жрите, мухи, падаль.

«Жирные»... слово повторяется вместе со словами «последнее желание» в зыбком месиве света и тьмы.

Мухи — жирные...

Они пляшут всё быстрее, в неистовом танце алчности, в суете подготовки приступа — вот сейчас ринутся рвать падаль, уже раздутые чьей-то кровью, а всё жадные.

Тьма — свет. Кольшутся в боли и в безвоздушье.

Горячий дым острым клинком врывается в боль, пробивает её — для воздуха, поток которого беспрепятственно попадает наконец в сжатые, съёженные, уже почти закостеневшие лёгкие.

Евгений начинает дышать, но, сразу опьянев, снова теряет сознание.

Куда делись мухи? Красные, чёрные, жирные мухи?

Он не падаль? Он жив?

Его бьют по щекам, легко, мягко. Так ласково он пошлёпывал по розовой попке свою дочку, и она поднимала голову. С трудом удерживала её, смеялась.

— Очнись, давай-ка, очнись! Ты в госпитале, тебе сделали операцию. Проснись. Тебе нужно оч-

Татьяна Успенская-Ошанина

нуться, а потом спать. — Голос женский, мягкий, Евгений давно не слышал такого доброго женского голоса.

Злые фразы «Чтоб ты сдох!», «В гробу тебя видела!» — сейчас затаптываются словами:

— Пожалуйста, мой хороший, моё дитя, очнись!

Не слова — картинки: ребёнок в руках матери! Он — в руках матери.

Мать вернулась в жизнь?

Под голос матери он всегда выходил из забытья наркоза.

Полиомиелит держал его в постели всё детство — до семи лет. Год проскакал на костылях. А потом операции одна за другой: ему вытягивали ногу, вбивали в неё гвозди, вешали на неё грузы. Боль жила в нём органом, как печень. Кружила голову. И лишь голос матери, слова матери: «Пожалуйста, мой хороший, дитя моё, очнись!» — могли хоть немного утишить эту боль и вывести его из забытья снова жить.

Только почему мать говорит по-английски? И почему боль не в ноге, а в груди?

Поток добрых, так давно не звучавших для него слов, простреливает его, обволакивает всё внутри, тушит боль:

— Ты что стонешь, моё дитя? Сейчас дам тебе обезболивающее. Проснись! Поговори со мной! Надо проснуться!

Не детство. Не мать.

Евгений видит тёмные глаза в сиянии тёмной кожи.

— Слава богу, очнулся! А я уж испугалась, что не добужусь. Милости прошу в жизнь! — И почти без перехода: — Фонари не горели. Ворота базы не закрыли. Фургон без водителя съехал на дорогу, перегородил её, из-за шторма ты не заметил. Хорошо, добрые люди увидели твою машину и фургон, вызвали полицию и «скорую помощь».

Переулок, оказывается, обитаем.

— Я твой лечащий врач, меня зовут Тамиша. Сейчас подошла сестра, она поможет тебе, а я зайду позже.

— Не уходи, — просит Евгений. Язык не слушается, слова сваливаются в ватный ком. — Мой клиент. Позвони. Не уходи, говори.

Лицо её разбегается к вискам в улыбке. Женщина гладит его по щеке, и почему-то у неё из глаз выкатывается по слезе. Она смахивает их, говорит:

— О своём пассажире не волнуйся, к нему послана другая машина, номер фургона записан. Сейчас ещё длится ночь. Разбираться будут завтра. Тебе нужно спать. Я вернусь к тебе через пару часов, когда ты проснёшься.

«Я жив». Эти слова и тёмное светлое лицо покачиваются перед ним, расплываются в поблёскивающие волны моря. Эти волны и волны тёплого

Татьяна Успенская-Ошанина

воздуха баюкают его, он спит, спит глубоко, как спит маленький ребёнок, у которого нет никаких обязательств, беспечно, беззаботно, бездумно, и благодарность к женщине, к её рукам, к её голосу, к её словам — единственное ощущение сна.

Потом пробуждение.

Снова она у его постели. Снова она гладит его по щеке.

Сколько ей лет? Сорок? Пятьдесят? Она его ровесница?

Лицо её всё время меняется: из улыбки в слёзы, из радости в жалость к нему, без перехода. И она говорит с ним:

— Был полицейский, составил акт, он вернётся через пару часов. Сказал, чтобы ты вызвал своего адвоката. Я дала моё заключение. Я приду к тебе завтра. Моя смена закончилась. Ты не хочешь известить жену?

— Нет! — воскликнул Евгений раньше, чем она договорила. «Жену». — Ни в коем случае. Я не хочу. У меня нет жены. Нельзя её звать. — Он устал от своего монолога и закрыл глаза.

— Не хочешь, и не надо. Твои вещи в шкафу, документы в тумбочке. Всё, что было в машине, здесь, не волнуйся. Хозяин занимается машиной. А ты спи, тебе нужно восстановиться.

И он послушно закрывает глаза.

Питание и обезболивание идут через руку, кислород поступает через нос.

А об Олеге, хозяине машины, соотечественнике и кровопийце, он забудет. Забудет о неисправной машине, под которой больше лежал, чем ездил, забудет о своём бесправии в Америке — ни статуса, ни страховки, ни праздников...

3

Он плыл всё дальше от берега. Солнце только вставало. И он плыл к солнцу по солнечной дорожке. Разлетались по воздуху и воде лучи, слепили.

Ещё не было Веры в его жизни. Была Елена.

Она была рядом с ним с его восьмого класса. На вечерах, на переменах, торчала у них в классе, учила желающих играть на гитаре.

Они — почти ровесники, Елена на полгода старше. Но учился он на класс ниже.

Их классная руководительница раньше была классной у Елены, а в том году взяла их класс. Елена приходила к ней, а значит, и к ним. Она прижилась в их классе, как приживается замёрзшая птица в тепле приютившего её дома.

Евгений садился рядом с ней, из её рук брал гитару и старался в точности повторить её движения. Он ловил её голос, мелодию, запах незнакомых цветов и пел ей в тон: «Две холодных звезды голубых...»

Татьяна Успенская-Ошанина

У Елены глаза — золотистые. И ничего больше он не знает о её внешности. Звёзды вместо глаз и хрупкость.

Он плывёт к солнцу.

Это он врёт. Она вовсе не хрупкая. Она может идти сколько угодно часов. По городу. По лесу. По сквозному полю. В первый год учительница повела их в поход. И Елена пошла с ними. Все парни их класса под рюкзаками и ветром согнулись в три погибели, затянулись шнурками курток, а она словно под солнцем, словно без ветра, камышинка, даже не поёжится. Идёт впереди всех и во всю глотку читает стихи.

Стихи живут в ней воздухом.

Вторая школа переломила его жизнь. По словам Елены, переломила и её жизнь.

Дискуссионный клуб, факультативы по зарубежной поэзии и литературе, на уроках — поэзия Гумилёва, Мандельштама, Цветаевой... ещё мало известных массовому читателю (в те годы всё это довольно большая смелость!). На уроках — романы Достоевского, тоже только что пришедшие к советскому читателю.

Петрович, директор, с ними играет в футбол, к нему можно зайти просто поговорить. Однажды мячом Евгений засветил Петровичу в глаз, очки

ЖИВУ, ПОКА ЛЮБЛЮ

разбил. Бог миловал — глаз остался цел, а Петрович не рассердился.

На лекции Анатолия Яacobсона, на вечера поэзии и вечера-диспуты между литераторами в актёрский зал сбегалась вся школа, разве что не на плечах друг у друга сидели...

В школе можно было быть самим собой. Хочешь, воспаряй до Олимпа и высказывайся до доньшка, хочешь — из самых серьёзных вещей делай комедию, играй словами, смей людей. Тебя не осудят, не обругают, примут таким, какой ты есть. Задача школы — вытащить на свет твою индивидуальность!

Самый главный период в жизни — Вторая школа, остров радости. И для Елены, и для него.

Годы пробуждения и жадного познания на уроках.

Годы бардовской песни.

В школе выступают Окуджава и Городницкий.

Поют в школе все, у кого есть слух и голос, и даже без слуха и голоса поют. Песни просквозили школу, звучат и в классах на переменах, и в подвале во время нелюбимых уроков, и в кабинете директора.

Все новые плёнки Высоцкого, Кима, Окуджавы, Галича — доставали.

И он сочинял свои песни как сумасшедший. Ночь — песня.

Елена, друзья, небо и солнце, смысл бытия, добро и зло... — всё подпадало под рифмы и музыку.

Годы самиздата. В основном, Илька приносил в класс антисоветчину.

Я

Потом и я начал приносить. Запрещённая литература ходила по рукам. В старую отцовскую машинку «Ундервуд» я засовывал столько страниц, сколько она могла выдержать, и бил одним пальцем по клавишам. В основном перепечатывал статьи и стихи из «Континента», запрещённого в то время журнала, и то, что издавалось в «ИМКА-Пресс». Но чаще мы фотографировали тексты. Проявить плёнку и напечатать можно было у любого из нас дома. Так, постепенно, собрали всего Солженицына. Романы переплетали.

Ещё мы печатали и заучивали ходившие по рукам стихи Бродского, Мандельштама...

Был у меня знакомый, по кличке Китаец, доставал книги. Однажды попросил поехать с ним в Шереметьево, помочь привезти чемоданы и за это предложил четыре книги бесплатно. Я согласился.

Сажу в Шереметьеве, в дипломатическом зале, жду, когда мой Китаец появится, а ко мне подходит симпатичный дядька и спрашивает, нужны ли мне хорошие книжки и верю ли я в Бога. В тот день я помог Китайцу дотащить барахло и книги, и с ним всё закончилось. А с дядькой мы подружились. Оказалось, он католический священник. Я стал встречаться с ним, на такси возил его в Сергиев Посад в церковь Параскевы Пятницы. Он дал мне потрясающую вещь — проповеди митрополита Антония Блума. Ан-

ЖИВУ, ПОКА ЛЮБЛЮ

дрей Блум был пострижен с именем Антоний в честь Антония Печерского — основателя Киево-Печерского монастыря. Та же «ИМКА-Пресс» издала. Стали мне от него звонить разные люди, говорили: «Надо прийти в Шереметьево, встретить такого-то». Одну, две, три книжки привозили мне. Сначала я перепечатывал то, что очень понравилось. Потом — то, что не понимал. Нужно же было научиться понимать! То, что мне не нравилось, не печатал.

Кое-что (Гумилёва, Мандельштама...) можно было найти в букинистическом. Потом мы догадались: а почему бы запрещённые статьи и книги не воровать в библиотеке имени Ленина и в университетской библиотеке?! Например, нашумевшую статью (скорее, философский трактат) Белинкова об Олеше. Я как раз прочёл недавно «Зависть» Олеси. Статью эту (как и другие подобные вещи) выдавали в Ленинке лишь по специальному разрешению — для научной работы. Мы стали «стряпать» эти «специальные» разрешения. У меня валялась дома старая отцовская печать Министерства обороны, у Ильки, тоже отцовская, — университетская. Нам приходилось кокетничать с девушками, чтобы не заподозрили подлога, заговаривать зубы охранникам. А однажды работа Белинкова оказалась в университете на выставке. Мы из-под стекла её и забрали. Куча народу потом прочитала её. Хранилась она у Элки.

Сейчас понимаю — подлецы были! Останься она в библиотеке, прочитало бы её куда больше людей!

Татьяна Успенская-Ошанина

Елена тоже читала всё, что читал Евгений. После гитарных уроков и вечеров он задерживал её в классе и давал книги и рукописи. С ней обсуждал запрещённую литературу. Главная тема разговоров была тогда: кто что прочёл, кто какие новые песни или стихи услышал. Часто спорили. Например, про Галича:

— Ты что, не видишь, он начал писать в разрешённое время! Согласен, песни сделаны залихватски, но его частушечный стиль... липа всё это, подделки! Да он руку набил на этих подделках!

— Неправда! — возражала Елена. — Из души идёт. Он пережил много. Ты придираешься к нему. Песни, которые пишешь ты, не похожи на его, вот ты и не хочешь допустить его стиль как равноправный. А каждый имеет право на свой стиль. Ты — романтик, он — реалист.

— Высоцкий тоже реалист. Но у него нет мата, нет дешёвой грубости. Кроме того, он честный. Он не скрывает, что никогда не воевал, никогда не сидел. Его песни воспринимаются совсем по-другому, чем песни Галича, им веришь. Да, Галич страшно талантливый, нашёл себя и как драматург, и в песне. Только почему он не опровергает слухи о себе, мол, и через войну прошёл, и через лагерь? На самом-то деле ничего такого с ним не происходило, он живёт вполне нормальной, спокойной жизнью. Да, его стукнули по башке несколько раз, да, ему объяснили, что он еврей... Но кому этого не объясняли?

— А я уверена, он прошёл войну! — возражала Елена. — И через лагеря прошёл! Неужели ты не чувствуешь достоверности?

Спорили и о Вознесенском.

Елена была влюблена в его стихи. Евгению они казались претенциозными.

— Это абсолютно пустой, бесполезный человек! — кричал он.

— Слушай! — Елена закрывала глаза и перебирала слова: «Тишины хочу...» — Голос её тихий глушил меня. — Разве эти строки мог написать «абсолютно пустой человек»? — удивлённо спрашивала Елена.

— Не спорю, есть у него отдельные сильные строки. Но их мало!

— Мало? Да я тебе могу их читать бесконечно!

И снова она закрывала глаза. Принималась читать: «Я — горе... я — голос войны...»

— Он позёр! Неужели ты не видишь? Посмотри, сколько пафоса во всём, что он пишет?!

— Почему «позёр»? И это вовсе не пафос, это новый век, это время скоростей, сконцентрированных трагедий: «Бьют женщину...» или нестандартной любви, когда любящие свои спины ощущают как лунные раковины...

Вознесенский голосом Елены превращался в Мерлин, судьбу которой с «самоубийством и героинном» спешил передать. Или заставлял её глазами и меня увидеть над собой Антимирры, какие ви-

Татьяна Успенская-Ошанина

дел он. Но Евгений сопротивлялся, он не хотел власти Вознесенского над Еленой.

— Разве ты не слышишь? Он уловил этот век. — Елена заглядывает Евгению в глаза. — Он чувствует век и нас предупреждает: «Найдите выход из его трагедий!»

— Да ни черта он о нас не думает, он во всём видит только себя, одного себя, любимого! Он выкобенивается и кривляется, он стремится сказать как бы повывороченнее. Неужели тебе нравится эта книжка с Озой? Читать невозможно, всё искручено.

— В «Озе» — любовь. Но, если не нравится «Оза», читай «Первый лёд» — про девочку, мёрзнущую в автомате, разве это не про каждую сегодняшнюю девчонку, которую обидели? Мне тебя жалко, ты слепой.

— Ты его жалеешь, а не меня. Вот увидишь, он весь уйдёт в свою архитектуру, в построения и забудет про живое.

— Зачем строить прогнозы, ты читай то, что он пишет сегодня!

— Сегодня «Треугольная груша». Не хочу её, к чёрту!

— Не надо так резко! Ты несправедлив к нему. — И снова Елена чуть слышно читает и наступают на него: — Слышишь «как ладонями пламя хранят...», все образы его нестандартны...

— Да хватит, — прерывает её Евгений. — Не хочу больше!

А Елена не замечает его раздражения:

— Я не понимаю тебя. Неужели ты не слышишь его душу? Неужели не чувствуешь, до чего точно сказано: «И из псов, как из зажигалок...» Непонятно, как ему в голову приходят такие точные сочетания!

— Очень даже понятно как! Когда человек ещё не испорчен, когда он ещё слышит Бога! В его пустую голову такие мысли не могли прийти. Им говорит кто-то другой или что-то иное, высшее. Только он не воспользовался тем, что Бог избрал его своим проводником, он предал забвению голос свыше, он разменивает себя на внешние эффекты. Вспомни его вечер. Слушать его невозможно, он — фигляр, он — совершенно пустая личность. Пыжится, пытается что-то изобразить из себя! Пижон и кокетка.

— Я не хочу с тобой разговаривать. Ты не смеешь так о нём! — Елена выскакивает из класса, но вскоре возвращается и снова говорит мягко: — Такие стихи, какие я тебе читала, не мог написать пустой человек! Запомни их, прошу. — Она снова и снова повторяет полюбившиеся ей строки.

Михаил и Илья хохотали над его горячностью, внимательно слушали Елену и явно были на её стороне. Он же готов был заткнуть уши, только чтоб не слышать тех стихов! Но, помимо его воли и желания, стихи входили в него сами вместе с Елениным голосом, вместе с её улыбкой и её просьбой

Татьяна Успенская-Ошанина

выучить их, и он покорно запоминал их, как с листа, с её голоса.

Он заучивал стихи — для неё.

В тот период они были как бы на разных полюсах.

Может быть, потому стихи Вознесенского казались Евгению мелкими, что его в то время привлекала философия — по полночи он читал «Диалоги» Платона. И пытался заинтересовать Платоном Елену:

— Послушай: «Значит, когда деньги бесполезны, тогда-то и полезна справедливость?» «Основное свойство философской души — охват мыслью целокупного времени и бытия!» Каково?

— Ну и что? — не понимала Елена. — Зачем это? О чём это?

— «Итак, вот что мне видится: в том, что познаваемо, идея блага — это предел, и она с трудом различима, но стоит её только там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она — причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она сама — владычица, от которой зависят истина и разумение, и на неё должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни», — вдохновенно шпарил он наизусть.

— Это всё ясно без слов. Зачем так много слов, зачем умничание?

Он даже захлебнулся тогда от удивления:

— Людям нравится выстраивать пассажи, мысль к мысли, слово к слову, рассуждение к рассуждению, возникает красивое построение, как уравнение. Часы можно тратить на это!

Елена пожала плечами:

— Я бы не выдержала — сидеть часами ради создания красивого пассажи.

Но даже возражения и несогласия Елены нравились ему, и он продолжал с выражением декламировать ей «Диалоги».

Нравилось ему и задавать Елене вопросы. Как правило, она отвечала однозначно, а ему хотелось, чтобы она о чёрном сказала «белое».

— Ты слышала что-нибудь о софистах?

— Древнегреческие мудрецы эпохи расцвета Древней Греции, их профессия — преподавание мудрости. Большое значение придавали риторике и искусству спора.

— Вот и нет. Софисты подменяли понятия, красноречиво отстаивали ложные теории и действия. Платон и Аристотель боролись с софистами, утверждали, что софисты проповедуют мнимую мудрость.

— Во-первых, как видишь, есть две стороны одного и того же понятия, и ты не сможешь доказать мне, что прав ты, а не я. Для того, чтобы доказать это, надо глубоко изучить то, что говорили и те, и другие. Во-вторых, говоришь ты вроде о серьёз-

Татьяна Успенская-Ошанина

ных вещах, а мне кажется, ты смеёшься над всем и над всеми.

— И над тобой?!

Она передёрнула плечами.

— Мне кажется, для тебя нет ничего святого. Ты из всего хочешь сделать комедию. Только бы посмеяться! Между прочим, из любой серьёзной вещи можно сделать комедию. Ты играешь со словами как софисты, если использовать твоё понимание значения этого слова...

А он смотрел в её разгоревшееся лицо и готов был снова и снова дразнить её, лишь бы она смотрела на него, сердилась на него, разговаривала с ним, возражала ему.

Самое главное — вот эти разговоры с Еленой! И отношения с Еленой.

Я

Однажды мы с Мишкой завалились к Элке домой, а её ещё не было. Тимка, её младший брат, проводил нас в её комнату. Сидели, ждали Элку и вдруг увидели сигареты. Я и раньше подозревал, что она начала курить. Правда, при мне не курила. Нашли мы целых две пачки «Примы» — в то время дешёвые сигареты были без фильтра. Мы с Мишкой выкурили их. Вернее, не выкурили, я тогда не курил, а выдули табак. Берёшь сигарету, зажигаешь, снёшь заж-

ЖИВУ, ПОКА ЛЮБЛЮ

жённым концом в рот, дуешь, и дым со страшной скоростью выбрасывает табак. Тут важно вовремя успеть выплюнуть сгоревший участок, чтобы не упал горящий пепел на язык. Вся комната плавала в дыму. Пришла Элка. Она обиделась на меня и неделю со мной не разговаривала.

Это был период, когда я тоже выступал со своими песнями, вместе с Высоцким, Кукиным, Кимом, Клячкиным, Городницким! Выступали, как правило, в клубах, но иной раз и на сценах университета или кинотеатра.

Елена поступила на биофак, а ему ещё десятый класс оставалось окончить!

Парни из разных классов ходили за ней следом по школе. И стали ходить по биофаку. Дожидаются после занятий, прогуливают свои лекции в своих институтах, слушают вместе с ней её — только бы ей в глаза заглянуть, слово сказать.

4

Наркоз отошёл, и теперь в теле орудовала боль. Она поселилась в нём живым существом и шаталась по нему — по груди, рёбрам, сердцу, слизи вала сон, обостряла нервы. Наверняка обезболивание ему дают, но, несмотря на это, всё равно — боль. Не от аварии. Боль проявляет Прошлого. Она

проснулась раньше этого Прошлого и засуетилась, заметалась по нему — обрати на меня своё внимание.

Ровно тридцать лет назад кончилась жизнь его души. Он продолжал жить механически, как живёт робот. Жил, не останавливаясь на привалах. Спал, чтобы сбросить усталость, чтобы восстановить силы для следующей рабочей ночи. Спал без сновидений и воспоминаний, без ощущений. Срабатывал наркоз, словно его душа оказалась замороженной.

Впервые за тридцать лет — остановка, привал, койка безделья. Кончился бег, кончилась гонка за деньгами.

Авария сломала механизм, и нет запасных частей.

А может быть, авария задала урок — не хотел сам остановиться в своём беге, вот тебе — остановись, задумайся, загляни в Прошлого: что ты сделал не так, почему твоя жизнь покатила от тебя прочь?

Авария нейтрализовала наркоз, растопила заморозку, порушила запруду, и первой — разведчиком Прошлого — хлынула боль. Плеснула огнём в мозг — лица, голоса.

Защититься! Он попытался приподнять руки — растереть грудь, растереть голову, укрыть глаза. Но руки, пудовые, чужие, лежали неподвижно поверх одеяла, и он не владел ими.

Он не хочет «задуматься». Он не хочет никакого урока, он не хочет остановки. Не надо Прошлого! Собрал всю свою волю — сейчас он возведёт щит, закроет от себя Прошлое, запретит картинкам мелькать перед ним, остановит летящие на него события! Но Прошлое, уже неподвластное ему, шарахнуло его в центр себя: смотри, это твоя жизнь, это твой путь, твои люди — плоть твоя, кровь твоя. Твой выбор.

Он плывёт всё дальше от берега. Солнце только встаёт. И он плывёт к нему по его, солнечной, дорожке. Разлетаются по воздуху лучи, слепят. И глаза Елены слепят ему навстречу. Вот сейчас, сейчас он подплывёт к Елене.

Сестра подносила судно, делала уколы, протирала лицо... он не спал и не бодрствовал, он встретился с самим собой — шестнадцати-девятнадцатилетним и с теми, кто был с ним в то время.

Из-за полиомиелита ходить ему всегда было трудно, но ребята внимания не обращали на то, что он хромает, он — равный им! Круг определился сразу — Илька, Мишка, Елена, Зоя. Илька, знакомясь, сказал: «Имя — Илья, родители зовут “Илька”, назвали так, потому что, когда я родился, у них дома жил илька — пушной зверёк, родственник кунице». Илька и есть пушной зверёк.